



ПОИСКИ ФАКТЫ ГИПОТЕЗЫ

Б. Н. Путилов

ОСТРОВ ПЕСЕН (НА АТОЛЛЕ ФУНАФУТИ)¹

Атолл Фунафути — самый большой в группе островов Эллис. С палубы «Дмитрия Менделеева» сквозь утреннюю дымку едва проглядывали вытянутые по громадной дуге десятка три островков, связанных между собой цепью рифов. В северо-восточной части атолла длинным узким полукружием лежал низкий берег, казавшийся отсюда сплошь покрытым густыми рощами не по-обычному высоких кокосовых пальм. Это был Фунафути — единственный населенный остров атолла. В бинокль можно было разглядеть крыши хижин и белые домики.

Мы вошли в лагуну и бросили якорь в нескольких километрах от главного острова. Ощущение того, что мы в огромном замкнутом кольце, протянувшемся на десятки миль, приходило к нам с большим трудом. Было время отлива, и сверкающая под солнцем лагуна недвижной громадой, не дыша, лежала вокруг нас. Лишь легкий ветерок приносил на гладкую поверхность воды чуть заметную рябь.

С берега не было слышно ни звука.

Такой умиротворенной красоты и спокойной заброшенности нам в Океании, кажется, встречать еще не приходилось.

О людях атолла мы знали до высадки немного. Острова Эллис — английская колония; вместе с архипелагом Гилберта, лежащим к северо-западу, они образуют административную единицу с центром на атолле Тарава. Жители Фунафути — типичные полинезийцы, и язык их во многом близок к самоанскому.

Мы были первыми советскими людьми, с которыми предстояло познакомиться фунафутицам, для нас же представлялась счастливая возможность после Самоа увидеть другой вариант полинезийской культуры.

* * *

Всю неделю, предшествовавшую приходу «Менделеева» на Фунафути, меня мучила малярия. Хотя приступ прошел и температура упала, я ощущал сильную слабость, голова кружилась. Однако лежать в прохладной каюте стало просто не в состоянии, да к тому же я до сих пор не мог пережить, что ничего не увидел на Западном Самоа. Судовой док-

¹ Публикуя эту статью, редакция продолжает знакомить читателей с работой этнографического отряда, участвовавшего в 1971 г. в экспедиции на научно-исследовательском судне АН СССР «Дмитрий Менделеев». См. «Сов. этнография», 1972, № 2—4; 1974, № 2.

тор, видимо, понял мое состояние и на мой вопрос, могу ли я сойти на берег, ответил с улыбкой: «Если есть силы и желание, сходите». Я почти бегом отправился собираться и через десять минут, одетый для высадки, и, самое главное, с магнитофоном через плечо и достаточным запасом ленты, сидел в боте.

Мы вылезли на пустынном пирсе и, прежде чем идти в деревню, прошли вдоль берега в противоположном от нее направлении. Когда отсюда смотришь на лагуну, ощущение особенного, ни на что не похожего покоя и ласкающей истомы становится еще сильнее. Противоположный край атолла кажется тонкой темной ниточкой. Сплошная зелень кокосовых пальм и панданусов справа и слева почти вплотную подходит к голубой воде, их отделяют от нее несколько метров отмытого волной, сверкающего белизной песка да груды серых камней, между которыми копошатся желтые крабы. Несколько каноэ с аутригерами бесшумно скользят по лагуне — рыбаки отправились на утренний лов.

Дорога, обсаженная высокими — до 30 метров — кокосовыми пальмами и низкими раскидистыми панданусами, ведет нас вдоль берега, мимо деревенского кладбища, мимо огородов с посадками таро, мимо рощиц хлебного дерева, к довольно большой открытой площадке, на которой мы неожиданно замечаем следы войны: заросшие травой, полузасыпанные воронки от снарядов, остатки снаряжения, обветшавшие заграждения. Здесь была когда-то американская военная база.

Деревня Фонгафале протянулась несколькими рядами хижин километра на два, вся она укрыта в тени деревьев. Обсаженная деревьями «улица», по которой может проехать машина, собственно одна, остальные хижины разбросаны в глубине без какого-нибудь порядка. Они в основном двух типов. Одни совсем без стен, на коротких сваях, под крышами лежат свернутые циновки, которыми можно завесить проемы; другие имеют лишь невысокие (около метра) ограждения, а в верхней части, до самой крыши, совершенно открыты. Люди сидят на нарах, застеленных циновками, занимаясь каким-то делом либо просто отдыхая. В палящий полдень или в послеобеденные часы, проходя по деревне, можно видеть внутри хижин неподвижные фигуры хозяев. «Талофа, талофа!» — певуче окликают они проходящих. Доброжелательность, искренняя любезность и приветливость фунафутийцев проявляются сразу, после первой встречи с нами.

Фунафутийский быт прост, и традиционные моменты в нем переплелись с влиянием современной цивилизации. В хижинах нередко можно увидеть стол с табуретками или лавками вокруг него, деревянные или железные кровати с перинами, одеялами и подушками, но хозяева сидят на полу или на нарах и спят на циновках. Новое — это дань моде, свидетельством достатка; сложившегося образа жизни эта показная роскошь не затрагивает.

В женской одежде почти не осталось традиционных черт. Женщины постарше носят обычные юбки и блузки, девушки — платья, все из хлопчатобумажной материи или шелка и искусственных тканей. Зато многие мужчины ходят в пестрых лавалава — длинных, до пят, кусках материи, которыми они обкручивают себя, или длинных же светлых юбках, поверх которых надеты рубашки. Молодые ребята, юноши ходят в одних шортах. У молодых — стройные, гибкие, мускулистые фигуры спортсменов, хорошо развитые плечи, крепкие, сильные руки. Фунафутийцы постарше в большинстве полные, грузные, отяжелевшие, с круглыми лицами и порядочными животами.

Все разнообразие человеческих типов, лиц, одежд, характеров фунафутийцев открылось нам на вечернем празднике, который деревня устроила для экспедиции.

Уже совсем темно, когда мы высаживаемся на пирсе, голоса невидимых людей окликают нас, произносят традиционное «талофа», и мы идем



Рис. 1. Девушки — участницы танцев



Рис. 2. Молодежный ансамбль

в деревню. Начинается дождь, я укрываю магнитофон и сумку с лентами под плащ. Мы долго шлепаем по лужам, скользим, хватаясь друг за друга. В хижинах ни огонька — вся деревня ушла на праздник.

На большой площади — дом собраний (*гаукоа*). Предварительно разувшись, мы заходим внутрь. Полы огромного зала устланы циновками. Зрители уселись вдоль барьеров, у колонн, подпирающих крышу. Отдельной группкой сидят вожди деревни и члены совета местного управления.

С двух сторон зала уже разместились певцы, музыканты, танцоры. Как нам объяснили, две группы представляют две части деревни — Алапи и Сенала.

Обе группы «артистов» совершенно одинаковы по составу. Позади, у стены, располагается хор — женщины подальше, мужчины ближе к центру зала. Несколько мужчин с сосредоточенным видом уселись вокруг большого ящика, покрытого циновкой. Мне уже приходилось ви-

деть такой барабан на других островах. Рядом юноша зажал в коленях блестящую жестяную канистру. Впереди хора лицами к центру сидят девушки. Поверх обыкновенных юбочек на них надеты юбки из раскрашенных полос тапы, широких пальмовых листьев и волокон, нейлоновые и простые трикотажные белые блузки украшены венками из листьев и цветов, к рукам выше локтей привязаны тесемками пучки листьев. На головах у них — громадные, в несколько рядов, венки из цветов. Такими же венками украшены головы многих участников хора и зрителей. Венки эти очень характерны для Полинезии, их можно встретить и на других островах, повсюду они символизируют праздник и служат выражением гостеприимства. Очень скоро они появляются и на наших головах.

Пока праздник не начался, девушки сидят в спокойных позах, переговариваясь и пересмеиваясь, с любопытством поглядывая на нас. Некоторые из них удивительно напоминают героинь Гогена, только вид у них более современный.

Начинается праздник. Группы Алапи и Сенала выступают поочередно. В каждом выступлении — две-три части, длящиеся по несколько минут. Весь праздник — это непрерывное соревнование, творческий спор двух коллективов. Постепенно мы замечаем, что и зрители — как на спортивных состязаниях — поделены на две части: одни представляют Сенала, другие Алапи, и все открыто болеет за своих. Сегодня, однако, случай особый — обе группы стараются показать все лучшее гостям, и каждая из них заинтересована не только в собственном успехе, но и в успехе «соперников».

По свистку ведущего хор Сенала медленно и громко запекает песню — широкую и спокойную. Поначалу выделяются мужские голоса. В какой-то момент раздается новый свисток, ритм песни переламывается, сидящие вокруг ящика мужчины начинают слаженно бить по нему, извлекая из него гулкое барабанное звучание. К этому присоединяются звенящие удары по канистре. Хор становится мощнее, а темп постоянно ускоряется, барабанишки дубасят по ящику изо всех сил. Все большее возбуждение охватывает певцов и музыкантов, плечи и грудь у них блестят от пота, лица сияют вдохновением. Ведущий вскакивает, дает новую команду свистом и криками, иступленно размахивает руками. Он явно хочет довести громкость и темп исполнения до немислимого предела, и в тот самый момент, когда ему это, кажется, удастся, когда все вот-вот взорвется вокруг от грохота и невозможного напряжения, — пение внезапно обрывается и наступает на несколько мгновений полная тишина. А потом... потом резкий свист раздается на другой стороне зала и сильные красивые голоса заводят новую песню, которая тоже будет доведена до высшего накала и так же прервется, когда наши уши больше не в силах будут выдержать. И так весь вечер, почти без перерывов.

Девушки, когда начинается пение, сидят сначала, как бы не замечая происходящего, затем по свистку ведущего они поднимаются и начинают танец. Стоя на всей ступне на чуть согнутых ногах, они почти не делают движений ни вперед, ни в стороны. Главное в танце составляют неповторимая игра руками, повороты головы, легкие движения тела да смена выражений лиц. Сейчас, много времени спустя, когда я вспоминаю этот вечер, передо мной плывут, летят, разговаривают десятки светло-шоколадных девичьих рук, исполненных невыразимой грации и с такой полнотой передающих все, что содержалось в танце. Мы, не знающие языка жестов, воспринимаем их чисто эмоционально. Но, оказывается, у жестов есть свое устойчивое значение, и они могут читаться. Николаю Михайловичу Гиренко повезло: рядом с ним оказался фунафутиец, отлично знавший язык танцевальных жестов и сумевший тут же довольно подробно объяснить его. Самое интересное, что жесты не только изображают нечто вполне видимое, материальное — например, плывущие по небу облака или поднимающуюся звезду, или море, — но и



Рис. 3. Девушки исполняют традиционный танец

целый мир отвлеченных понятий, чувств, если угодно определенных жизненных принципов. Вот вытянутая вперед правая рука — ладонью вниз — движется покачиваясь, словно по легким волнам: это жест дружбы, дружеских отношений; еще более высокая степень — сердечности, любви: большими пальцами обеих рук танцующие плавными движениями касаются попеременно груди и живота. Ладони рук легко касаются одна другой перед грудью пальцами, чуть покачиваясь: мир, единство, согласие.

И снова руки выбрасываются поочередно вперед, правая поднимается вверх, танцующие начинают слегка кружиться: это означает свободу, радостное веселье, если хотите — полет куда-то.

По мере того как темп песни учащается и хор звучит все мощнее, приближаясь к кульминации, девушки приседают все ниже, танец постепенно приобретает большее возбуждение и резкость движений. Заключительные жесты напоминают движение в нашем матросском танце: с легкими прыжками в сторону девушки словно тянут что-то снизу. Танец кончается под традиционную формулу — «сафенга малйя» («мы много сделали», «достаточно», «хватит») и троекратное тяжелое «хэ-хэ-хэ!».

Как только девушки начинают танцевать, выражения лиц их резко меняются — куда-то исчезают ленивое спокойствие и беззаботная томность, на смену приходит горячее возбуждение, глаза сияют, ослепительные зубы открываются в широких улыбках. Каждая из танцующих, не нарушая единого плана танца, играет свою, одной ей ведомую роль, создает какой-то свой неповторимый образ.

Должно быть, у танцев этих долгая история, и она равна истории народа, их создавшего. Они, конечно, восходят к древним обрядовым, магическим, культовым пляскам. Сами танцующие этих связей уже могут не ощущать, но они есть, потому что искусство танца здесь на острове передавалось из поколения в поколение в порядке бытовой традиции, а не через какую-то хореографическую школу; мастерство усваивалось естественно и органично. Чтобы так танцевать, не надо быть обученной танцовщицей, надо быть фунафутийкой, надо родиться и вырасти здесь на атолле...

Между тем хозяева объясняют нам содержание каждого танца и каждой сопровождающей его песни, и перед нами открываются неожиданные и невероятно интересные подробности.

Начинает коллектив Сенала. Хор обращается к гостям с русского корабля: «Мы рады встретиться с вами сегодня на нашем острове. Как хорошо, что вы приехали к нам, мы славим этот день встречи и желаем вам всего наилучшего». Это традиционный полинезийский политес. Песня придумана не сейчас, она хранится в памяти на подходящий случай. Все дело в конкретном исполнении, и нам кажется, что сейчас песня звучит особенно искренно и чисто.

Не будь сегодня здесь гостей, праздник начался бы несколько по-иному: люди из Сенала стали бы хвастать в песне своим искусством пения и танца и подсмеиваться над неумехами из Алапи, а те ответили бы им чем-нибудь в этом же роде. Сегодня, однако, прямой спор отставлен.

Во втором своем цикле хор Сенала поет о том, как двадцать восемь лет назад на Фунафути упали японские бомбы. Люди острова не могут забыть этот день — «печальный день бомбардировки Фунафути». «Я буду петь для того, чтобы все знали, что было, и чтобы это больше никого не застало врасплах». Для девушек в раскрашенных юбках и с венками на головах «печальный день» так далек и так нереален... Напрасно бы мы стали искать на их лицах во время соответствующей пантомимы следы тревоги, выражение серьезности темы. Играть суровую историю они не научились и переживать ее искренно не могут.

Хор Алапи запел песню о красоте острова Фунафути, о его пальмах, о недвижном покое лагуны, о том, что для жителей деревни нет ничего дороже этого маленького кусочка земли, затерявшегося в безбрежном океане.

Перед нами было искусство совершенно живое, связанное с сегодняшним миром островитян, выражавшее их строй чувств. Ничего архаического, стародавнего не было в словах песен. Чем дальше, чем интереснее и по-своему загадочнее оказывался тот мир поэзии, в который вводил нас праздник. Коллектив Сенала исполнил песню и пляс о Ноевом ковчеге. Певцы и танцоры Алапи ответили на это пантомимой о блудном сыне. На стороне Сенала прозвучала история борьбы Давида с Голиафом, группа Алапи исполнила библейскую историю о царе Иудейском. Ни в манере пения, ни в характере музыкального сопровождения, ни в танцах нельзя было заметить чего-то такого, что выделяло бы эти песни и пантомимы из общего ряда и отличало бы их по самому духу. Это было искусство насквозь мирское, языческое, живое. Откуда же такие темы?

Позднее нам изложили ту версию, объяснявшую их появление, которая, по-видимому, признается на острове всеми. Миссионерам, обращавшим фунафутийцев в христианство, среди других языческих обычаев, распространенных на острове, не нравились и танцы, и они попытались запретить их. Вот тогда-то якобы и родилась идея спасти традиционное искусство, привив ему содержание, которое не противоречит учению церкви. К сожалению, никто не помнит (либо не хочет вспоминать) исконного содержания старых плясок и танцевальных песен. По-видимому, в традиционную музыку постоянно вливались мелодии псалмов. Но искусство пантомимы изменилось мало, что же касается новых сюжетов, то не они подчинили себе традиционное полинезийское искусство, а напротив, оно само ассимилировало и трансформировало на свой лад сюжеты и идеи библейских сказаний и новозаветных историй. В сущности, безвестные фунафутийские поэты поступили с ними совершенно так, как это делали их предшественники в разных концах земли — они увидели здесь поэтический материал, который поддается свободной обработке и в котором открывается что-то близкое, интересное, свое.

Вот, например, как интерпретировался в поэтическом восприятии островитян-рыболовов новозаветный эпизод с призванием апостолов-рыбаков на Геннисаретском озере. Люди Алапи запели:

Слушай голос, голос жизни,
Сейчас мы с мелкого места идем на глубокое.
Послушай меня, не спеши,
Мы будем ловить рыбу всю ночь.
Дети мои, всю ночь
Мы прождали рыбу, но ничего не поймали,
Надо идти на другое место.
Мы пришли на другое место
И поймали очень много рыбы.
Надо позвать еще ребят,
Пусть они помогут вытянуть сети.

Мужчина, растолковывавший нам содержание песен, с некоторым смущением заключил: «Вообще-то это о святом Петре». А у меня явилась мысль, не связана ли эта пантомима в своих истоках с теми утраченными ныне магическими плясками, которые исполнялись перед отплытием на рыбную ловлю и которые должны были обеспечить богатый улов. История о рыбаках-апостолах явилась как бы посредствующим звеном между старой магической песней и пляской и современной песней-пантомимой, в которой рыбная ловля получила уже чисто поэтическое, я бы сказал, лирико-философское осмысление. И так почти во всем. Вот хор поет о том, как Агарь в пустыне не может напоить сына и является ангел со словами: «Не плачь, вот вода для твоего сына, вот она перед тобой, дай ему напиться, не бойся, это хорошая вода». В песне ничего не говорится о чудесном колодце, потому что фунафутийцы колодцев почти не знают, зато они очень хорошо знают цену воде, особенно хорошей: у каждой хижины в деревне стоят бочки, в которые бережно собирается дождевая вода. Они, разумеется, не страдают от жажды, пока у них есть кокосовые орехи, но понятно, почему мучения Агари и Измаила ими воспринимаются вполне «по-островитянский».

В иных случаях библейский текст оборачивается для них высокой лирикой. Как вариации на тему «Песни песней» звучат стихи:

Твое лицо красиво, божественно,
Моя любимая,
Ты так прекрасна,
Что твое лицо можно сравнить только с лицом бога.

Вряд ли миссионеры одобрили бы философию, выраженную в следующих стихах:

Смотри, как прекрасно жить под солнцем.
Посмотри и запомни,
Потому что когда ты уйдешь из этого мира,
То этой красоты уже не увидишь.

Последний цикл, исполненный людьми Алапи, как говорится, под занавес, назывался «Пляс о звездах». К тому моменту, когда началось его исполнение, тропический дождь прекратился, и черное небо с огромными звездами повисло низко-низко над нами.

Мужской голос тихо, чтобы не мешать пению, переводил нам слова:

Знаменитая звезда есть на запад от острова.
Слышишь, поют цикады,
В ночи разносятся далеко голоса,
Но сегодня эта звезда уже не там,
Она на востоке,
Она указывает, где родился Христос:
Это Вифлеем,
Это звезда царя царей.

Смотри, как прекрасен Фунафути,
Сколько птиц спряталось в тени и спят.
Смотри, сколько лодок.
Настало время и тебе отправиться на своем каноэ.
Трое волхвов отправились смотреть,
Где царь родился.
Трое волхвов плывут в Вифлеем на лодках,
И ангелы сопровождают их.

Нет, стихи эти не из числа тех, что могут обрадовать миссионеров. Зато они многое говорят тем, кто хочет понять душу маленького островного народа. Еще недавно мир был замкнут для него кольцом атолла. Теперь границы его безмерно расширяются. У народа Фунафути есть своя история, и она неотрывна от истории человечества. Именно эта большая мысль ощущается в наивных и поэтичных строках песни о безвестном фунафутийце, снаряжающем свое каноэ, чтобы отправиться вслед за волхвами в неведомый Вифлеем. Фунафути прекрасен, но нельзя жить одним только Фунафути. Должно быть, очень к месту была эта заключительная песня в тот дивный вечер, когда фунафутийцы на свой полинезийский манер знакомились с учеными и моряками из далекой страны.

В промежутках между танцами были речи. Один из деревенских вождей обращал к нам на певучем местном языке, молодежавый фунафутиец тут же переводил по-английски, а наш капитан — по-русски. Полинезийцы умеют и любят говорить приветственные речи, они очень искусно соединяют привычные формулы гостеприимства с фразами, подсказываемыми конкретными обстоятельствами. На этот раз таким «обстоятельством» был советский корабль. Громадный белый красавец, видимо, произвел впечатление на островитян. Видимо, и люди с корабля им нравятся. Особенно поражает их множество женщин в составе экспедиции. Они не представляли себе, что женщины могут быть учеными. Наш добрый смех рассеивает их смущение. Встреча заканчивается тем, что капитан приглашает всех завтра на корабль.

К вечеру следующего дня все население деревни, за исключением совсем старых и самых маленьких, было у причала. Первые катера доставили на корабль школьников. Поднявшись по веревочному трапу на палубу, они сначала жались друг к другу, сверкающие внутренности корабля ослепили их. Но очень скоро они освоились, расползлись по всему судну, и их потом пришлось извлекать из самых неожиданных мест.

Постепенно корабль заполнился гостями с острова.

На верхней палубе, после того как гостям показали кают-компанию, конференц-зал, машинный зал, лаборатории, штурманскую рубку, прокрутили несколько фильмов, состоялось торжество. Снова были песни и пляски, снова произносились речи, а в заключение один из вождей сказал: «Мы только сегодня с удивлением узнали, что в вашей стране нет кокосовых пальм. Мы привезли вам четыреста пятьдесят кокосовых орехов, чтобы каждый из вас мог показать их у себя дома».

Наутро мы снова в деревне. Людей мало — дети в школе, многие взрослые ушли на огороды; отправились ловить рыбу. Мы идем каменистым берегом. Громадные желто-белые раковины, выброшенные ночным приливом, сушатся на солнце, длинные «пальцы» на них обломаны. Женщины метут дворы у хижин, приветливо окликают нас. Заговариваем с несколькими девушками, оказавшимися поблизости, заводим разговор о песнях. Одна из них — Самола — немного понимает по-английски, во всяком случае, она быстро усваивает, чего я хочу, и уже минут через пять мы с Владимиром Николаевичем Басиловым сидим в окружении девушек и молодых женщин на веранде. Самола приносит

маленькую гитару (*укулеле*). У нее приятный густой низкий голос, у ее подруг — повыше.

Несколько часов провели мы на веранде, казалось, совершенно отгороженные от остального мира, целиком погруженные в мир девичьей фунафутийской песни. Раза два-три неожиданно обрушивался тропический дождь, и шум его начинал перекрывать голоса поющих, но очень скоро снова приходила тишина, и мы слышали одну лишь песню. Перед нами разворачивалась как бы сюита из множества песен, все они были связаны одной темой — темой сегодняшнего Фунафути, в них поэтически чисто и непритязательно выражались настроения, лирические раздумья, ожидания молодых островитян. Это была поэзия повседневности, в ней нельзя было найти ничего, что выходило бы за пределы острова, она вся была замкнута в кольцо лагуны. ...Молодые люди плывут в каноэ по лагуне, любуясь ее красотой... Как прекрасен Фунафути с его высокими пальмами и яркими цветами... Скауты приехали с других островов и жгли на Фунафути лагерный костер... Девушки и юноши участвовали в постройке дома; по случаю окончания работы был устроен праздник.

Самола тут же называет даты, когда происходило то или другое событие. Жизнь на острове столь спокойна и однообразна, что любой случай становится событием и по поводу его слагают песню. В большинстве песен мир безоблачен и светел, и лирике их больше всего подходит определение созерцательной. Характеру слов вполне соответствуют и мелодии — нежные, слегка задумчивые, чуть-чуть тронутые печалью.

Есть и песни с конфликтным началом. Одну такую песню Самола излагает особенно подробно. К девушке приходит друг с дурными намерениями («Он нехороший, очень нехороший»), а потом идет к другой и той рассказывает все о первой...

Раздумывая над всем услышанным, я начинаю сопоставлять содержание фунафутийских девичьих песен с содержанием русских деревенских частушек и неожиданно обнаруживаю в тех и других немало общего. Главное, что их сближает, — это стремление поэтически запечатлеть самые обычные житейские ситуации, выразить девичий взгляд на происходящее, передать такие душевные движения, о которых никто не знает и знать не может. Форма спокойной, удивительно мелодичной, богатой переходами, как бы переливающейся песни очень соответствует и характеру полинезийцев, и окружающей их обстановке. Похоже, вместе с тем, что такие песни — явление сравнительно новое и что здесь не обошлось без влияния «западной» культуры. Ведь и укулеле в конечном счете, не говоря уже об обычных гитарах, — результат того же влияния. А без укулеле такие песни не поются.

Между тем мне хочется услышать что-нибудь более традиционное. Девушки, по моей просьбе, приводят пожилую полинезийку, и она, сначала смущаясь немного, поет мне колыбельную — «Спи, мой мальчик, мой дорогой...». Мне уже приходилось слышать колыбельные от женщин на Новой Гвинее, на Новых Гебридах, на Фиджи. Всюду в них звучат мотивы материнской любви и материнской заботы, тревоги, думы, а рядом с ними — неизменные мотивы сна, уговоры, повеления уснуть, спать... Различны слова и непохожи мелодии этих песен, но мне кажется уже, что, даже не зная слов, колыбельную всегда можно различить по какой-то особой нежности, по ни с чем не сравнимым ласково-повелительным интонациям.

Девушки слушают, слегка посмеиваясь. Сами они, конечно, уже не помнят, как им пели колыбельную, а то, что, может быть, скоро и они станут петь ее, пока не приходит в голову. Оглушительным смехом встречают Самола и ее подруги мою просьбу — вспомнить песни, которые они пели лет пять-шесть назад. Под непрерывный смех Самола пытаются воспроизвести детскую шуточную песню. «Мой Пепе, мой Пе-

пе», — начинает она, но всякий раз хохот буквально душит ее и не дает продолжить. Так и сохранились у меня на ленте эти повторяющиеся сквозь приступ хохота два слова, а вслед за ними — и всеобщий наш смех, долго раздававшийся на веранде.

Успокоившись, Самола показала нам одну детскую игровую песенку, в которой, собственно, слова не пелись на определенный мотив, а проносились речитативом. Самола и ее подруга уселись одна против другой и повели диалог, по ходу которого спрашивавшая касалась рук, щек, ушей, носа подруги, а под конец крепко вцеплялась ей в волосы и под всеобщий смех тянула голову вниз. Смысл игры, видимо, состоял в том, чтобы одной избежать такого финала, а другой — вовремя схватить за волосы.

Потом показали любопытную считалку. Девушки уселись в круг, выставив свои ноги. Под песню Самола стала считать по ногам и после каждого куплета отбрасывала чью-то ногу. Случайно, или так Самола подстроила, в конце концов осталась одна ее нога, она стала считаться с полом и в конце ловко передернула счет, чтобы выиграть.

Жаль, что недостаток времени не позволил нам поглубже заглянуть в этот совершенно неизведанный мирок детского полинезийского фольклора.

Девушки, совершив краткий заход в недавнее и уже такое далекое детство, снова вернулись к своим сегодняшним песням.

Кто же сочиняет их на этом острове? Задать прямо этот вопрос моим новым знакомым я не стал, по опыту зная, что могу получить ответ вполне определенный, но далекий от реальности. Народная песня обладает удивительной способностью — она рождается как бы сама, она безлична, и каждый знающий ее считается одним из ее создателей. В наше время, однако, у песен все чаще появляются реальные авторы, и имена их как первотворцов какое-то время держатся в памяти окружающих.

На следующий день после встречи с Самолой и ее подругами мы снова сидели под сводами таусоа. На этот раз не было ни хора, ни танцоров, мы были гостями небольшого молодежного ансамбля. Юноши лет 18—20, типичные фунафутийцы, отлично сложенные, с красивыми открытыми лицами, белозубые, собрались в кружок. В руках у них — укулеле, гитары, мандолины. Владеют инструментами они превосходно. У них мягкие, несильные, типично «океанийские» голоса. В ансамбле несколько девушек, они явно робеют, и я специально прошу их петь погромче, чтобы их чистые красивые голоса были слышны. Представляю, что где-нибудь у нас на концерте художественной самодеятельности — на самом высшем уровне — такой ансамбль имел бы громадный успех. И музыка, и слова, и манера исполнения удивительно гармонируют со всем тем, что окружает нас: с недвижной гладью лагуны, со скользкой вдали лодкой, с нависшими над хижинами верхушками кокосовых пальм, с атмосферой покоя и истомы.

Рядом со мной оказывается немолодой, интеллигентного вида, в длинной голубой юбке и белой кофте фунафутиец. На безукоризненном английском языке он сообщает мне сведения о спетых песнях. И уже первый его комментарий заставляет меня насторожиться. Песню, только что исполненную, я слышал вчера от девушек — это песня о красоте острова Фунафути. Мой новый знакомый сообщает мне без всякого нажима: «Эту песню сложил житель Фунафути по имени Тонгиа — участник ансамбля», — и он показывает на парня с мандолиной. Следующая песня — о поездке на рыбную ловлю — тоже принадлежит Тонгиа. А потом я записываю все новые и новые имена авторов песен, и почти все они сейчас находятся здесь в кругу. Я обращаю внимание на форму, в которую облекает мой переводчик сообщения об авторстве той или другой песни. «Это песня о цветущем дереве канава. Ее сложил

Теувини. Он думал о тени, которую бросает цветущее дерево». — «Эта песня сложена Менéуа с мыслями об очень маленьком острове в южной части океана, о деревьях, цветах и людях этого острова». — «Эту песню сложил Сингаитеава с мыслями о любви. Когда двое влюбленных расстаются, юноша складывает песню о своей возлюбленной, оказавшейся далеко от него».

Песня — непосредственное выражение мыслей и чувствований того, кто ее слагает, и самый процесс создания песни — это своеобразное осмысление какой-то ситуации, какого-то жизненного момента.

Передо мной сидели самобытные поэты-певцы. Любая из песен, исполненных ими, могла стать украшением концерта, прозвучать по радио и на пластинке.

Нетрудно было заметить известную однотипность музыкального материала, в котором причудливо соединились особенности традиционной полинезийской музыки с современной эстрадой. Песни фунафутийцев были составлены из мелодических блоков, варьируемых формул, искусно соединенных и обогащенных импровизацией. Некоторые мотивы казались мне знакомыми — похоже, я слышал их уже на Фиджи и на Самоа, но полного совпадения не было. Музыка этих песен одновременно «своя» и «общая», и в этом смысле творчество молодых фунафутийцев в принципе сходно с самодельным молодежным музцицированием в других странах и на других континентах. Важно, что они нашли форму и стиль, позволяющие им полно выразить себя и сказать свое поэтическое слово об их родном острове.

Руководитель ансамбля — Лоту, юноша с огромной копной волос, закрывающей лоб, мастерски играет на всех инструментах. Ему принадлежит несколько прекрасных песен и в том числе песня, складывая которую, «Лоту думал о любви». Мысли юноши мой переводчик обобщил в словах: «Любовь — это очень хорошая вещь. Любовь — это очень плохая вещь».

Уровень мастерства и импровизаторские возможности ансамбля очень наглядно продемонстрировал один случай. В паузе между исполнением ребята попросили нас спеть что-нибудь. Мы с Басиловым спели на два голоса «А где мне взять такую песню». По-видимому, она понравилась, ребята быстро, но по-своему, восприняли мелодию, подобрали аккомпанемент, а мы попытались изложить ее содержание. Я почти уверен, что очень скоро в репертуаре ансамбля появится новое произведение, которое в чем-то будет напоминать нашу песню, но не станет ее простым повторением. Должно быть, не одна песня ансамбля появилась таким образом — путем трансформации в духе привычного стиля какой-то понравившейся чужой мелодии.

Итак, после превосходного танцевального коллектива — великолепный ансамбль музыкантов-певцов. И все это в одной деревне, соединенной с внешним миром тонкими нитями. Напряженный пульс художественной жизни Фунафути поражает даже после всего того, что нам пришлось увидеть и услышать в других местах Океании. О Фунафути можно с полным правом сказать как об острове песен. Его обитатели удивительно музыкальны. Но дело не только в природной одаренности и творческой активности островитян.

В таких случаях очень многое еще значит чья-то личная инициатива, чей-то организаторский талант, чья-то воля и энтузиазм, творческий пример. На Фунафути, похоже, все нити творческой жизни тянутся к одному человеку — к Тапу Ливи. Впервые мы увидели его в роли руководителя хоровой и танцевальной группы Сенала во время вечернего праздника. Казалось, он не замечал и не слышал ничего вокруг, кроме хора и девушек, исполнявших пляски. Обнаженный по пояс, в традиционной лавалава, толстый, обливаясь потом, он кричал своим певцам что-то, срывая голос, ожесточенно дирижировал одной рукой. На лице его вы-

ражалось вдохновение, он всякий раз доводил хор до изнеможения и сам вот-вот готов был, кажется, отдать последние силы, но проходили минуты паузы, начинался новый номер, и Тапу Ливи снова вел свою группу полный сил и творческого подъема.

Ансамбль Лоту, как постепенно выяснилось, тоже был обязан многим Тапу Ливи. А затем мы узнали, что Тапу Ливи и сам сочиняет и в сущности является настоящим и своеобразным композитором.

И вот мы в его доме. Тапу Ливи — вождь большесемейной общины, но по его жилищу это не видно. Никаких признаков, которые хоть как-то указывали бы на большой достаток, на обладание властью, на особый авторитет. Циновки на полу, простой сундук в углу, несколько семейных фотографий в общей рамке под стеклом. Молодая миловидная жена, веселая, смешливая, приносит вскрытые кокосовые орехи и эмалированные кружки. Позже, за обедом, на который нас приглашают остаться, она угощает нас традиционным полинезийским блюдом — вареными кусочками плодов хлебного дерева, таро и рыбы — с добавлением отварного риса.

Тапу Ливи в 1971 г. было сорок восемь лет. Он долго жил на Западном Самоа и оставил там свою первую семью, бывал на Фиджи. О богатстве, о деньгах Тапу Ливи говорит с откровенной неприязнью. Он убежден, что ничего хорошего деньги не приносят и что человеку нужно не богатство, а честное имя и душевное спокойствие. Тапу Ливи философски относится к жизни, видя в ее бесконечном разнообразии проявление единой закономерности. Ему присущ своеобразный пантеизм, который, видимо, является одним из источников его творчества. Тапу Ливи говорит, что к сочинению песни он приступает с мыслями о боге, который дает людям пищу, питье («Я имею в виду воду», — уточняет Тапу Ливи), жизнь. Однако в песнях его нет ничего собственно религиозного, он поет о жизни, о ее радостях, печалях, о ее проблемах. Аккомпанируя себе на укулеле, композитор поет песню, с которой, видимо, связаны у него особенно дорогие воспоминания: «Эту песню я сложил вскоре после войны. Я был молод тогда, моя подруга уехала на другой остров, и я пел о ней».

Следующая песня, которую исполняет Тапу Ливи, — «О бутылке вина». Передавать нам ее содержание он не стал: «Каждый понимает, о чем в ней говорится». В репертуаре композитора есть песни и иного содержания, указывающие на то, что социальные проблемы волнуют его. Горечью и глубоким сочувствием к страдающим людям пронизана его песня о деревне прокаженных на одном из островов Фиджи. Тапу Ливи услышал об этой деревне, когда был несколько лет назад на Фиджи. Любопытно, что пребывая на этом архипелаге, полном тропических красот, в местах, о которых не без оснований пишут и говорят как о земном рае, отзывалось в творчестве Тапу Ливи так драматически.



Рис. 4. Тапу Ливи

И на Фунафути композитор находит для своих песен не только темы светлые, радостные, и поет не только о запахе цветов, о рыбной ловле, о гостях острова. Одна из лучших его песен возвращает нас к временам войны. Лицо Тапу Ливи мрачнеет, когда он вспоминает об обстоятельствах, при которых была сложена эта давняя песня. «Это было в 1943 году, когда американцы явились сюда. Это песня о людях из Америки и о женщинах с нашего острова. Когда моряки высадились здесь, они пытались брать силой девушек из домов и увозить их в лес на машинах, чтобы делать там что-то дурное. Наши люди стали жаловаться, и командование должно было строго предупредить, что плохие люди будут наказаны».

В песне Тапу Ливи звучат горечь и негодование, он до сих пор не может забыть о нанесенных его мирному острову обидах.

Последние такты песни композитор допекает под разноголосый шум рьятишек, бегущих из школы.

Как сочиняет Тапу Ливи свои песни?

К творчеству он относится исключительно серьезно. Песня для него — событие, он долго готовится к ее созданию, внутренне обдумывает, мы бы сказали, вынашивает ее. Слова песни он записывает, а мелодия, сложившись, живет в памяти, потому что нотной грамоты композитор не знает.

Во время пребывания «Дмитрия Менделеева» на Фунафути Тапу Ливи привязался к нам и не скрывал своих симпатий. Тронули ли его наш особенный интерес к искусству острова и внимание к его песням или вообще наш глубокий и явно бескорыстный интерес к самым различным сторонам жизни фунафутийцев, дружелюбие и уважительное к ним отношение — трудно сказать, но, кажется, впервые Тапу Ливи был по-настоящему растроган, прощаясь с советскими людьми, которых еще недавно совершенно не знал. Провожая нас, он сказал. «Сейчас я вернусь и начну обдумывать песню о гостях с русского корабля. А когда вы приедете в следующий раз, мы покажем вам танец, посвященный вашему пребыванию на острове».

Катер отходит от нашего судна. На корме — Тапу Ливи, в своей неизменной цветистой лавалава, босой, обнаженный по пояс, с венком из цветов на голове, подняв руку в прощальном приветствии, задумчиво смотрит на нас. Дни, проведенные с нами, отзовутся в песне. Какой она будет?
